

Под утро на Володю навалился тяжелый сон. Он смутно понимал, что спит уже дома, старался сбросить вместе со стеганым одеялом эти проклятые сновидения, о которых даже рассказывать никому нельзя, и лучше бы их сразу забыть... Но прокуренные пальцы поручика Дудкина все сильнее сжимали его больное, простуженное в тюремных коридорах горло, не давали дышать, и в уплывающем сознании Володи мелькало то самое, что выискивал, к чему жаждал подобраться жандармский следователь.

Искали зачинщиков бунта на Бежицком заводе¹. Кольцо облавы сжималось вокруг Русанова и его давнишнего приятеля Родзевича-Белевича. Собранные сыщиками улики оказались все же слабоваты. А Дудкин мечтал о громком процессе.

С чего же тогда все началось?..

...Из Орла Володя выехал июньской ночью. Почти всю дорогу светила луна. Крутить педали было легко и весело. Воскресным утром, обещавшим жару, он уже был в Бежице. Запылившийся велосипед поставил в тени ракиты, проверил за пазухой пачку свежих прокламаций и присел на травке, недалеко от крепко сбитого дома, в котором проживал главный заводской сторож Петрованов. Щедро подкармливаемый администрацией, этот охранник в небрежно накинутом на широкие плечи дарованном халате прогуливал породистого пса. Большая лохматая собака вызывала интерес у слободских мальчишек, и они окружили ее. Это не понравилось хозяину. Он неожиданно скомандовал:

— Ату!

Пес бросился на ребятишек. Но один из пацанов

¹ На Бежицком рельсопрокатном заводе Брянского уезда Орловской губернии в 90-х годах XIX века начались рабочие волнения.

не струсил, схватил камень, замахнулся на собаку. И хлопнул выстрел.

Володя сначала не понял, что произошло. Охранник с дымящимся револьвером в руках быстро протиснулся в окованную железом калитку и закрыл ее изнутри. К расprostертому на траве неподвижному ребенку спешили рабочие, их матери, жены из соседнего барака. Подбежал и Володя. Он прислонил ухо к груди мальчишки. Под серенькой ветхой косовороткой сердечко едва билось.

— Сыночка убили! — истошно вскрикнула молодая женщина и упала, как брошенный на землю сноп. Зазвенели стекла: в окна охранника полетели камни.

— Нельзя так, самим-то... Он — псих, Петров. Начнет палить... К становому надуть, — останавливал разъяренных товарищей длинный костистый парень с плохо пробритой щекой. Это был, как потом оказалось, Семен Кондырев, тот самый, который впоследствии, неудачно разыскивая Русанова в Орле, попал к его однофамильцу.

Когда полумертвого мальчика увезли в лечебницу, появился становой пристав. Он приехал не один, а с двумя конными. Они потеснили народ, охраняя казенную бричку начальства.

Становой вел себя нахально. Стоя на бричке, красный от злости, он сразу начал орать на людей:

— Расходитесь по-доброму. Потом разберемся. Порядок понимать надо!

— Какой же это порядок, когда детей убивают... — кричали из толпы. — На улице убивают, белым днем...

Володя увидел своего товарища по орловскому кружку Бориса Кварцева, работавшего на рельсопрокатном заводе. Ему-то он и должен был передать прокламации. Но ситуация изменилась. Возле дома охранника собрались сотни рабочих. И Русанов решил действовать. Он выбросил вверх под ветер пачку разноцветных листочков. Рабочие ловили их и громко читали:

— Долой царских сатрапов!

— Долой самодержавие!

— Требуйте восьмичасовой рабочий день!

Городовые напирали на людей, а пристав размахивал наганом, брызгал слюной:

— Расходитесь, свиньи!

Наступившую вдруг тишину прорезал женский вопль:

— Сыночка верните! Сыночка!

Но и этот крик материнской души не смутил пристава. Все человеческое давно в нем заглохло:

— Смотреть надо за своим отродьем! Урок вам! Разбегайтесь, скоты!

Измочаленные каторжной работой, бледные, полуголодные люди сжимали кулаки, брались за камни.

Литейщики стащили одного из городских с коня и, вооружившись его шашкой, пробивались к другому.

Кварцев обхватил Володю за плечо, оттаскивая к велосипеду:

— Уезжать надо, уезжать. Вон солдаты шагают.

Ободренный их появлением и минутной растерянностью толпы, пристав погнал бричку прямо на женщин, стреляя на ходу.

— Ловите гада! — закричал Володя и... проснулся.

Над ним наклонилась мама:

— Сыночек, сыночек... Что ты так ругаешься, Володя?

— Приснилось что-то...

— Ну поспи, сынок. Поспи. Еще рано. Замучили тебя...

Володя повернулся на другой бок и, успокоенный, сразу заснул, как провалился в мягкое и теплое гнездышко, такое родное в этом уютном ме-
зонине.

Но сновидения все же не оставили Володю, они опять наваливались, все путалось, но ясно было главное: он вовремя разбросал листовки. Это все равно, что горючее плеснул в раскаленную печь. Семитысячный рабочий коллектив рельсопрокатного завода бурлил.

Дорога на Орел была перекрыта кавалерийским эскадроном, и ему пришлось заночевать в будке стрелочника Василия Померанцева. С братом его Николаем, осмотрщиком вагонов, Володя познакомился в Орле, на вокзале. Немало хорошего слышал о братьях. Не жалели они себя ради общего дела. А уви-

деть живым Василия довелось тогда в первый и последний раз. Вскоре убили его на маевке.

В будку к стрелочнику привел Володю Кварцев. Пришли с ним и Квиткин и Кондырев. Много поучительного рассказали они о настроении рабочих. Внимательно слушал не только уважаемый гость из Орла, но и Саша — сынок Померанцева — бойкий и смышленный паренек. Матери его не было. Она подменяла мужа на стрелках. Шли поезда.

— Орловский губернатор приехал в Брянск, — сказал Василий. — Ходил по мастерским, в бараки и вроде без охраны...

— Шпики были рядом, а с ними и полицейские переодетые, — поправил Кварцев. — Правда, заводское начальство попросил удалиться...

— Ага, — догадался Сеня Кондырев. — Чтобы, значит, вызвать на открытый разговор. Какие, мол, жалобы?

— Ну, ему и выложили наши ребята, — продолжал Кварцев. — И про штрафную систему на заводе, когда получать ничего не остается. А чем кормить детей? В магазинах одно гнилье, да еще цены растут. И за все плати: и за больницу, и за баню грязную, и за жилье в бараке половину заработка, остальное — за траву для коровы, если накопишь. А как без коровы с ребятами?

— Все записал губернатор-то?

— Записал, обещал содействие, помощь.

— Помощь уже идет, — согласился Померанцев.

— Какая? — поинтересовался Володя.

— А ты выгляни из будки, — сказал Василий. — Вон там, за семафором. Выгружается помощь. Еще два батальона Каширского полка да два казачьих эскадрона. А у каждого казака по нагайке. Понял, какая помощь?

— Понял, — вздохнул Володя. Он многое тогда понял.

В сентябре вновь поднялась Бежица. Делегация забастовщиков направилась к заводчику, предъявила требования, напечатанные в прокламациях. Губернатор на этот раз приехал из Орла под охраной усиленного батальона пехоты. Четверо главных зачинщиков были арестованы и заперты на станции в товарном вагоне. Солдат вокруг — уйма. Но это не

смутило забастовщиков. Тысячная толпа забросала часовых камнями, освободила товарищей.

Войска прибывали из разных городов.

«Сегодня утром произвели аресты,— сообщал губернатор министру внутренних дел.— Забастовка прекращена; завтра станут на работу».

Примерно такое же сообщение было послано и царю в Ливадию.

Над Орлом и Брянском сгущались черные тучи. Аресты продолжались...

— Назовите трех ваших товарищей, фамилии которых начинаются на буквы «К»,— настойчиво спрашивал следователь.

— Я ребусы не люблю,— отвечал Русанов.

— Я помогу,— настаивал следователь.— Кварцев, Квиткин... Кто третий?

— Не знаю ни того, ни другого, ни третьего.

— Может, вы и Максима Переса не знаете? При обыске у него нашли брошюры революционного содержания «Братцы-товарищи» и «Александр I I I (к 10-летию коронации)». Он показал на допросе, что именно вы ему передали эти брошюры.

— С Пересом я знаком, а брошюры ему не передавал. Это вранье, провокация,— твердо отвечал Русанов.

— Ну что ж. Так и запишем в протоколе,— промычал, явно смутившись Дудкин.— Значит... Считаете, Максим Перес — провокатор. Ну, ладно-с... Теперь поговорим о Дубровинском.

— Ничего я говорить не буду. Устал...

Володя потянулся и открыл глаза. Солнечные блики прыгали по обоям. Свежий весенний ветер рвал внизу форточку, ворвался в мезонин, настойчиво звал на улицу.

ПРОШЛОЕ МУЧИТ, ПРОШЛОЕ УЧИТ

На углу Мацневского переулка¹ и 2-й Курской улицы стоял городской, прозванный за всю поистине звериную силу Бегемотом. В ту памятную весну перевели его на верхнюю часть Курских улиц, побли-

¹ Ныне улица В. А. Русанова, на ней расположен в Орле его музей.

же к недавно учрежденному здесь тайному жандармскому наблюдательному посту. В числе прочих ищеек, всяких шавкиных да плевковых, промелькнувших в подписанных протоколах допросов, опасался Русанов и этого громогласного стража после того, как относительно благополучно в очередной раз выбрался из Орловского тюремного замка.

Узнав от матери, исстрадавшейся за три месяца разлуки, что из университета его успели исключить, решил он повидаться с любимой Окой, а возможно, и попрощаться навеки с ее излучинами и оврагами.

Чтобы не видеть багровый нос городского, пробирался к высокому берегу реки через мокрые от растаявшего снега сады. Вышел на разбитую мощеную улицу. Затерявшись среди многочисленных в это воскресенье прихожан Никитской церкви, хотел было забежать к Володе — другу детства и юности, — благо дом Родзевичей-Белевичей, где собирались кружковцы, рядом, да раздумал. Лучше, когда стемнеет: береженого бог бережет, и озорно посмотрел на постные лица молодых монашек. В их глазах нет-нет да мелькали из-под ресниц лукавые бесенята.

— Господин хороший... Христа ради... Подайте милостыню слепому-незрячему, — прервал его мысли сухопарый старик с бельмами на глазах. Володя судорожно поискал в карманах, вытащил пятак. И потянулись к нему десятки худых изможденных рук. Слепые, безногие, с обожженными морозной зимой и покрытыми струпьями лицами, в лохмотьях, люди ползали на каменных порошках паперти. Кое-кто из нищих узнавал его:

— Купчик разоренный... Сынок Любви Дмитриевны...

Володя опустил сверкнувшие голубым огнем глаза и поспешил к берегу.

Поздняя весна не радовала. Давно бы и ледоходу быть. Лед почернел, вздулся темно-синими жилами, вот-вот развалится. И вспомнился отец в последний год его жизни. Жалкими глазами смотрел он на пятилетнего Володю и все шептал матери, чтобы учила сына. А на какие гроши? Да и где учиться? Поступил в гимназию. Оттуда исключили. «За неспособность к наукам» написали. Но многие знали: за связь с революционным кружком.

Отчим Андрей Петрович, заменивший отца, уважаемый учитель-латинист помог в семинарию определиться. Все-таки бесплатно. Окончил ее с грехом пополам. Чтобы только не видеть слезы матери, зубрил до умопомрачения гомилетику, литургику, жалобные молитвы по новопреставленным. А что толку? Даже в Киевский св. Владимира университет лишь вольнослушателем зачислили. А мечтал о Санкт-Петербурге, о геологическом факультете или о Медико-хирургической академии, которую двоюродный брат Николай окончил...

Володя вспомнил яркий осенний денек, когда Николай, замаскировавшись под профессора, в очках, в шляпе а la transe бесстрашно разгуливал со своим отцом по орловским улицам, а питерская полиция уже его разыскивала. Лет двенадцать, если не больше, с того времени прошло... Давно уже в Париже он, мемуары пишет. Есть ему о чем вспоминать. С Германом Лопатиным познакомился, с автором перевода Марксова «Капитала», с Лавровым подружился, с Энгельсом встречался, Тургенева видел, с Глебом Ивановичем Успенским спорил...

От Николая и от дяди Сережи в тайнике в мезонине герценовский «Колокол» сохранился и несколько номеров «Полярной звезды». Все прочитал он, а что сделал для трудовой России, для униженных и обиженных? Для настоящего дела, для революции не только мужество, но и знания нужны. А у него какой багаж?

Володя застегнул студенческую тужурку — от Оки потянуло ледяным ветром.

Прошелся по берегу в сторону железнодорожного моста. Там, за ним, под серым оттаявшим снегом притаились его любимые пещеры — старые заброшенные каменоломни, куда лазил он мальчишкой, составляя геологические коллекции. Мать, блюдя чистоту, выбрасывала его находки, а он опять собирал камушки, когда вышагивал по лесам и оврагам Орловской губернии и в соседнюю заглядывал.

А сколько споров было и с Родзевичем-Белевичем, и с наезжавшими и сосланными в Орел студентами. Уверял многих, что недра земли орловской и курской таят запасы железной руды. Впервые о Севере тогда же заговорили. Споры эти не мешали за-

нениям в марксистском кружке, когда общими молодыми силами осваивали «Капитал», работы Энгельса, Лафарга... Отметая то, чем усердно пичкали в духовной семинарии, Русанов постигал искусство побеждать в революции и в науке.

Спустя годы, после многих полицейских преследований, допросов, следствий в таганской и орловской тюрьмах, после Вологодской ссылки, уже из Парижа, получив признание как ученый-геолог, он ласково напомним маменьке о тех камушках, которые она напрасно выкидывала. И будет еще одно письмо о сыне, о том, где и чему ему учиться. Оно прозвучит, как завещание Человека, отдавшего всю свою жизнь науке во имя будущего Родины, во имя могущества, величия и славы России. Незадолго до последней своей новоземельской экспедиции, из которой уже не вернется, Русанов напишет в Орел, своим родным:

«Я много думал о моем сыне, о нашем дорогом Шурочке. Отдавать его в гимназию, где ему будут забивать голову тысячами ненужных вещей, я считал бы жестоким. И русская гимназия не научит его работать, а если он будет с чутким сердцем, то она неизбежно приведет его к тюрьме и ссылке...»

У Владимира Русанова было чуткое сердце.

— Мало, очень мало ты успел сделать для народа, — терзал он свою совесть. — Все бахвалишься, что обвел вокруг пальца жандармского поручика Дудкина. Так ты себя спасал... Объявил себя поклонником Дарвина и Ницше туда же приплел...

Хорошо еще, что гектограф до обыска успели в мезонине спрятать. А запах от расплавленной мастики сумели на подгоревшие пироги свалить, как и тогда в квартире Родзевича. Тут и матушка помогла: на страже стояла. И Дудкину умело намекнула, что сам губернатор Левашов на прежних русановских пирах бывал. Но кто его же Русанова предал? Неужто опять Макс Перес? Отец Макса иногда обслуживал тюрьму, заключенных фотографировал. И в профиль, и в фас. Перес-старший весьма перепугался тогда, сделав вид, что не узнает Володю. Особенно неприятно было, когда при нем отпечатки пальцев снимали. А потом лоб измеряли, в глаза заглядывали и все

записывали: глаза голубые, взгляд энергичный, веселый, движения быстрые. Плечи широкие, рост высокий. То-то и Перес-младший ему завидовал.

— Да никакой Русанов не марксист,— наговаривал он друзьям,— логикой не владеет. На его выступления в кружке одни курсистки приходят... им любоваться. «Ах, какой красивый! Аполлон прямо...» Аполлон в студенческой тужурке!

Может, Пересовы слова не только до женской гимназии, но и до жандармских ушей дошли? А к Машеньке Булатовой он явно его ревновал. Отец-то ее — видный чиновник-путеец. Его, Русанова, купеческого сынка, и то едва в дом пускали. Маша все смеялась:

— Макс решил меня к высотам фотографии приобщить, «лейку» обещал принести. — «Не нужна мне,— говорю,— ваша «лейка». Мне уже другой господин ее презентует.— «Не Русанов ли?» — спрашивает.— «А хоть бы и Русанов. Мы с ним на Север собираемся». — «Моржей фотографировать? Ну что ж, гладкой вам дорожки... на льдинах,— и зло так посмотрел,— дворянам и купцам только и кататься. Куда уж нам. Говорят, ваш папаша скоро будет всей Витебской железной дорогой управлять? Нет, не пустит он вас с Русановым...»

— А я сама убегу,— злила Маша влюбленного Переса.

А был ли он в тот злополучный вечер в Троицкой гостинице? Володя, спустившись с обрыва, присел на большую известковую глыбу, в узкой впадине, за кустами ракитника и вербы притаился, совсем его не видно со стороны прибрежной улицы.

Поздненько все же пришел. Начало уже смеркаться. Появились огоньки на том берегу, в центре города. Сначала зажглись фонари на Левашовой горе, где губернаторский дом. Вот и Дворянское гнездо засветилось на высоком берегу Орлика. А нижние Курские улицы с маленькими домиками, купеческими амбарами и сараями — пенькотрепалками — растворились в темноте. Володя встал, протянул руки к нему, затем рывком — в стороны, сделал приседание и, как на пружинах, перепрыгнул через каменную глыбу. И, словно приветствуя его сильный спор-

тивный прыжок, загудел перед мостом паровоз, замелькали вагоны с освещенными окнами.

«Рижский, вечерний», — Русанов слушал равномерный перестук колес и вспоминал знакомую дорогу на Брянск, Бежицу, друзей-рабочих рельсопрокатного завода. И опять закружились перед ним велосипедные спицы. Не раз он гонял туда, обвязанный под рубашкой пачками листовок, отпечатанных под треньканье гитары и жгучие цыганские романсы. Семинаристы, студенты, рабочие-молодежь первого в Орле социал-демократического кружка — звенели блюдами и чашками у самовара, изображая вечеринку, чтобы заглушить стук гектографа...

Нет!.. Переса в гостинице не было, иначе следовательно обязательно сделал бы с ним очную ставку. А то поверил, что он, Русанов, никаких речей перед типографскими и заводскими рабочими не держал, а просто пригласил его туда закадычный друг Родзевич-Белевич выпить рюмку водки. Вот он и ввязался в разговор, поспорил с буфетчиком о деньгах, о необходимости давать в долг, верить на слово. И никакого Сухорукова он не знает. Что? Тоже из орловской типографии? Пьяница небось...

На разговор о водке поручик Дудкин клюнул охотно.

— В дедушку своего вы пошли, Владимир Александрович. Покойник Дмитрий Иванович любил погулять и себя показать.

— Наследственность, — вздохнул и вроде бы как сконфузился Русанов.

— Это понятно, — Дудкин потер ладошкой свой маленький приплюснутый носик. — Одно только не ясно, почему участник беспорядков на Бежицком заводе Семен Кондырев, выйдя из тюрьмы, искал именно Русанова, а через вас кассу взаимопомощи для забастовщиков?

— Да разве Русанов один на свете?

— Тоже верно. Ваш покойный дедушка шесть поколений Русановых насчитывал. Даже в каком-то, сказывал, бунте, в Угличе за убиенного царевича Дмитрия супротив Бориса Годунова пошли Русановы... Давнишние, выходит, вы — бунтовщики, — ворковал Дудкин. — Историки найдут истину. Мы тоже не сразу вас отыскиали. Сначала в Москве вет-

фельдшера нащупали, да не тем оказался. Хорошо, посланник ваш пьяненький перепутал адресок в Орле и к другому Русанову, Дмитрию Дмитриевичу, забрел, а тот сразу нас извещил как истинный патриот царя и Отечества.

— Если каждому пьяному верить...

— Но вам же поверили в трактире, хоть вы и пьяны были, как сами утверждаете, господин Русанов... Конечно, создание фонда помощи бастующим рабочим на заводе Хрущева¹ или Бежицком — задача не легкая.

— Фантазии это, господин поручик.

— Сначала фантазии, потом — дела... Ну, а как насчет литературы? Тоже фантазия? «Манифест Коммунистической партии» читали-с?

— Читал. Только не разделяю... Я — ницшеанец...

— Это мы слышали на первом допросе. А вы и после Таганки повторяете. Или не насиделись в Москве?

Володя закрыл глаза... Таганка... Заключенные рассказывали, что это самая современная тюрьма, построенная по американскому образцу. Стальные сетки между этажами. Длинные глухие коридоры, тяжелые, обитые железом двери, узкие, переполненные людьми камеры с высокими решетчатыми окошками. Над ними — козырьки... Мерзкий запах от параша. А как хотелось хоть на несколько минут вырваться на воздух. Там — золотая осень, а может, уже и холодком повеяло... Первый снежок. Веселые лица... У нас любят зиму. Щеки у девушек покрасневшие, пышущие здоровьем...

И вдруг — железный визг открываемой двери, кандалный звон связки ключей:

— Русанов! На свидание... с невестой. Три минуты.

В комнате для свиданий, разделенной решеткой, он увидел Марию Родзевич-Белевич. Она быстро шептала, экономя время:

— Была у брата. Совсем плох. В сырой камере добьет его чахотка. Потом к тебе удалось, как... «невесте». Твоя книга. Там... У Веры Павловны...

¹ Ныне завод «Текмаш» в Орле.

— Имен, фамилий друзей не называть, — загудел надзиратель. — Осталось полторы минуты.

— Там, там... строчки, — торопилась Мария.

А он не отвечал, ничего не понимая, и видел лишь ее глаза, бесконечно влюбленные в него глаза, и вспоминал, как ходили в Орле, по Болховской, говорили о театре, о книгах. И по этой же улице потом прогуливались с Машей Булатовой. Она горячо рассказывала о товарищах по борьбе и мечтала, как и он, о дальних странах. Он понял тогда, что любит только Булатову. А Мария Родзевич по-прежнему забегала к ним домой, и мама привечала ее, как родную.

Мария разгадала в те считанные минуты его мысли, его задумчивый взгляд:

— От Маши — сердечный привет, — сказала на прощание. — Я желаю тебе с ней счастья и скорой встречи.

Уже в камере, поглядывая на волчок у двери, Володя открыл «Что делать?» Чернышевского — давнишний свой подарок Марии. И на тех страницах, где автор рассказывал о Вере Павловне, нашел над буквами еле заметные точки и прочитал: «Лидия Семеновна Перес признала, что издание «Манифеста» передала тебе, не успев уничтожить».

Володя быстро стер мякишем хлеба карандашные пометки и зло выругался.

— Опять эти Пересы... Лидия Перес...

— Надолго же вы задумались, господин Русанов? — сердито окликнул его Дудкин и продолжал допрос своим противным скрипучим голосом:

— Все шевелите губами, а на вопрос по существу не ответили. Где корзина с «Манифестом»? Вы ее получили?

— Никакой корзины с «Манифестом» я не получал, — отвечал Русанов, и тут он понял, почему после Таганки его так быстро опять арестовали и держат уже здесь, в Орловском замке, третий месяц. И больного Родзевича-Белевича из Ялты привезли сюда же. — Нет, не получал, не знаю.

Дудкин сделал вид, что не слышал ответа, вышел в соседнюю смежную комнату, где снова появился полковник Щепотьев, начальник губернского жандармского управления.

Русанов прислушался к их тихому разговору, но ничего не расслышал, кроме слова «корзина».

После ухода полковника Дудкин опять заскрипел:

— Я думаю, мы вполне достаточно поговорили о пустых корзинах, которые вы не изволили видеть.

Русанов едва заметно усмехнулся. Хорошо, что вовремя успел передать все содержимое корзины Дубровинскому, а он, конечно, принял меры.

Следователь заметил усмешку, и в его голосе прозвучала строгость:

— Вы лучше расскажите о статьях Владимира Ульянова-Ильина. Еще Дубровинский приносил. Вспоминаете?

— Никакого Дубровинского я не знаю.

— Ну как же? — Дудкин заглянул в папочку. — Дубровинский Иосиф Федорович, соучастник по делу Ульянова — фигура крупная в движении. И про Юдина, скажете, не слышали? Квартиру в доме вашей маменьки снимал. Юдин Александр, юнкер военного училища. Вспомнили? Ну вот. А Надежду Смерчинскую не забыли? На 2-й Пушкарной жила в доме Андреевой, сын ее Леонид писательством занялся, как и ваш Родзевич-Белевич...

Володя вспомнил первые занятия кружка, походы на Пушкарную и то, как они, семинаристы, ловко обходили Бегемота. И закрыл ладонью рот, чтобы скрыть улыбку.

— Что-то вам сегодня весело, Владимир Александрович? — заметил Дудкин. — Причин-то для веселья маловато. А память у вас слабеет. Что скажете?

Русанов, как всегда, отвечал твердо, ясно, хорошо поставленным голосом:

— Госпожа Смерчинская, которую вы вспомнили, была учительницей, я брал у нее уроки французского. Родзевич-Белевич — мой друг — талантливый репортер.

— Послушайте, что написал на допросе ваш друг, — прервал его Дудкин. — Читайте. Узнаете почерк?

И Русанов прочитал вслух: «Считаю пропаганду идей социалистических в духе программы Российской социал-демократической партии в настоящее

время в России необходимой, так как все более и более убеждаюсь, что коммунистический социализм школы Карла Маркса и Фридриха Энгельса, который лежит в основе названной программы, есть истинно научная теория, никем не опровергнутая, и что настало время для русских общественных деятелей пропагандировать эту программу».

— Ну-с, каково произведение вашего газетера?

— В этом его убеждение. А за убеждение судили только во времена инквизиции.

— Мы вас пока не собираемся судить,— проворчал Дудкин.— И Родзевича вашего как чахоточного больного еще вчера отпустили. Вам тоже следует о здоровье позаботиться. Поменьше в трактиры заглядывать...

«Ишь, какие сердобольные... Скоро будут спрашивать, не жмет ли веревка»...

Дудкин монотонно проскрипел:

— Пирушки эти, вечерки к добру не приводят. После винца дуреют люди, песенки запрещенные сами на язык просятся. Лишний шум на улицах.

После многозначительной паузы добавил:

— Маменька ваша, дай бог ей здоровья, обо всем просила вас предупредить.

Краска бросилась в лицо Русанову, но он сдержал себя: «Врет, сволочь. Не могла матушка ни о чем просить. Она — гордая женщина, к родственникам даже не обращалась...»

А Дудкин, будто ничего не замечая, продолжал:

— Это вам от нас, можно сказать, предупреждение. Учтите и больше не грешите... Книжка Нансена «Во льдах» понравилась? Или как ее?..

— «Во льдах и во мраке полярных ночей». Хорошая книга.

— Во-во... Во мраке и прочитали. Учение — свет, а неучение — тьма. Вы, по всему видать, человек способный...

— Спасибо за комплимент. Только верните матушке книги. И Глеба Успенского сочинения. И еще самоучитель французского языка.

— В Париж собираетесь? Пока не пустим. И в Киев, и в Москву тоже больше не ездите. А то, не дай бог, встретите там какого-нибудь Шавкина и

попадете к черту в лапы, не поможет и... богатый дядюшка.

«Что-то они опять затеяли? — насторожился Русанов. — Какой-то дядюшка? Чушь!»

— Подпишите-с протокольчик и до свидания... Только не спешите к нам, как говорят в больницах.

Тюремные ворота перед Русановым вновь открылись.

ТЫ НУЖЕН ЛЮДЯМ

На высоком берегу Оки, глубоко и радостно вдыхая свежий речной воздух, Володя по-прежнему упорно перебирал в памяти все детали допросов. И многое представлялось в ином свете. Конечно, в какой-то мере он задурил Дудкину голову этим нищезанятием. Но и они, жандармы, не такие уж простаки. Что-то опять затеяли. А за их домом начали следить давно, еще когда квартировал Юдин. И за домом на Пушкинской тоже. В те дни там только начали собираться. Всякое бывало. Однажды гимназистки так расхрабрились, что «Марсельезу» запели, хорошо хоть по-французски. Городовой все равно бы не понял.

Володя улыбнулся и, стараясь соблюдать произношение, напел вполголоса:

Allons, enfants de la patrie,
le jour gloire est a rive!¹

И оглянулся: нет ли и здесь сыщика Шавкина? Это он опознал его в Москве по фотографии, когда к Турбиной заходил, литературу из Киева привозил. Ну и фамилия, Шавкин. Как же его звали? Федор? Нет, Федор Полевков или Плевков — отставной жандармский вахмистр. Дело Смерчинской фабриковал. На квартире за тонкой перегородкой сидел, подслушивал. Совсем неопытными мы были, не сразу узнали. А Шавкина Филиппом зовут. Филипп, Филя... Володя вспомнил упомянутого следователем Семена Кондырева. Оказывается, его все же посадили на три месяца, а потом отпустили. А в Орле он

¹ Граждане! Вперед! За Родину!
Пришел день Победы! (Пер. с франц.).

действительно искал его и заблудился среди особнячков многочисленной русановской родни. Плохо это, очень плохо.

Мысли Володи опять потекли к Бежице, к планам «Московского Рабочего Союза», в четком выполнении которых львиная доля ложилась на их орловскую марксистскую организацию, умело направляемую наиболее стойкими соратниками Владимира Ильича Ульянова.

— Мы должны использовать водополье, — говорил Иосиф Дубровинский. — Разлив Десны отрежет Бежицкий завод от Брянска, и тогда царь не сможет двинуть туда войска. Рабочий класс Орловской губернии добьется своей первой победы! Правильно? Может, Русанов что добавит? — Обратился тогда к нему Иннокентий¹. Добавлять было нечего. Все точно продумано. Вот только ранняя весна карты спутала. Из Орла к тому же так трудно сейчас выехать. И Дубровинским снова заинтересовались. Надо предупредить всех. Как там здоровье Родзевича? Который час? Увидеть хотя бы Клавдия Острова.

Володя присел на камень. Вынул из кармашка жилетки большие швейцарские часы, унаследованные от деда, щелкнул серебряной крышкой.

Нет, рано еще.

Володины думки устремились, как ручьи весной, в разные стороны. Веселое, живое перемежалось с грустным: заплаканные глаза матери и тут же неожиданно радостный поцелуй Маши Булатовой. К тюремным воротам подошла, не побоялась. А ведь за ней, если пронюхали про ее вечерние беседы в вагонном депо, наверняка следят. Фигурка-то приметная, лицо скуластенькое, косы длинные, роскошные...

А с товарищами по организации не успел по-настоящему поговорить. Столько еще вопросов...

Загрохотал по мосту тяжелый товарняк. Володя проводил глазами вагоны и платформы с лесом. Прижаться бы в тамбуре, укрывшись полущубком, и на Запад, к морю. Учиться бы там, в нужную для России науку с головой окунуться. Нет, рано еще. Со-

¹ Иннокентий — подпольная кличка Иосифа Федоровича Дубровинского, соратника В. И. Ленина.

весть не позволит. Нельзя! Фонарь на последнем тамбуре как бы подтвердил запрет. И сразу внизу, под мостом, раздался грохот. Треснул лед, назревший под весенними водами. Мостовые опоры — быки — затряслись под грузом тяжелого поезда, и ледяное поле начало расползаться.

— Эх ты, Плевкин! Говорил: гони! Припоздали. Ледоход начался, — заревел позади хриплый бас. — Нешто не успеем на ту сторону?

— Куда там, хозяин. Лыдина на лыдину войной пошла.

Из-за куста Володя не сразу разглядел неожиданных гостей. Луна высветила сначала богатую пролетку на красных шинах, а потом не менее красную с белой окладистой бородой и с боярской шапкой физиономию. Путаясь в медвежьей шубе, сошел с пролетки рослый старик, сердито посмотрел из-под густых бровей.

Володя почувствовал, как забежали мурашки по его спине. Бред какой-то! Дед с того света явился. Ну точно, как на том портрете, живой Дмитрий Иванович. Или тюремные переживания ударили по нервам? Даже в жар бросило. Володя провел ладонью по лбу. Ветки вербы мельтешили перед глазами. Как из-за кулис зачарованно глядел он на развернувшееся перед ним зрелище.

— Тащи факела, Федя, расстилай ковер. Зови цыган, вон их табор движется. Мы и тутость отметим ледоход. Эй, народ, собирайся на дармовщину. Давай, Плевков, всех сюда. Да ковер-то в лужу не стели. То-то что не свое! Эх ты, Плевкин, навязался на мою голову. Как тебя хоть по фамилии: Плевако, Плеваков, Плевкин?

Полевков, ваше благородие. Федор Иванович Полевков, — зычно, по-военному ответил человек неопределенных лет, но далеко не первой молодости.

Что-то знакомое показалось Володе в этом отрывистом, но слегка вибрирующем голосе и вытянутом вперед, как у суслика, сером сморщенном личике. Где он его видел? На Пушкарной, когда у Смерчинской «Что делать?» читали и потом брошюру «Царь-голод»? Нет, это уже не в доме Андреевых, а у Куртинова. Там вахмистр сидел за перегородкой и

слушал разглагольствования не очень-то осторожного Переса. А теперь отставной вахмистр в роли кучера и лакея. И наверняка недавно: фамилию его еще хозяин путает, а может, издевается, чтобы свою власть показать? Купцы без этого редко обходились. Неужто все подстроено Дудкиным? Поверил басне, что молодой Русанов из-за рюмки в гостиницу приходил, и вот теперь разыскивает его по всему городу; хотят подпоить и что-то все же выведать, может, и родственников или однофамильцев подключили. А он вообще алкоголь не выносит, вдоволь насмотрелся на купеческие пьянки, которые всегда, во всех поколениях кончались безумием и параличами. Нет уж, меня на рюмку не поймаешь, поручик Дудкин!

Но откуда здесь цыгане? Тоже не успели к переезду? По улице, направляясь к оврагу у железнодорожного моста, скрипели их забрызганные грязью телеги, из-под засаленных подушек и перин выглядывали бледные при лунном свете детские лица. Держась за оглобли, семенили старухи в длинных юбках, а сбоку гордо вышагивали, звеня монистами и бросая быстрые взгляды на богатую пролетку, чернобровые цыганки в пестрых шалях. Последние телеги еще тащились по улице, а с первых уже стаскивали скарб и на пологом скате оврага, на полуобсохшей земле ставили шатры. Коней отводили в сторону, в котлован, где еще с прошлой осени оставался жалкий, полуразвалившийся стожок гнилой соломы.

— Маштак, Маштак! — кричали белозубые парни и что-то по-своему, гортанными голосами спрашивали у седобородого одноглазого толстяка в поношенной поддевке, перевязанной красным кушаком. Он был вожаком табора. Володя вспомнил, что встречался с ним у Ретяжского леса, за Кромами. Они хорошо тогда поговорили.

Внизу, под обрывом, с грохотом переламывались льдины. А наверху, почти у самой пролетки, коптили факелы и голосище старого купца гудел, как надтреснутый колокол:

— Пошла Ока! Всю грязь орловскую в Волгу-матушку снесет. А вы, дворянчики, чего там засели в своем поганом гнезде? Брезгуете нами? — грозил он своим все еще могучим кулаком. — Просадили усадебки, проигрались. Считать не умеете. А не умеешь,

не берись за землю, без вас обойдемся. Не умеешь торговать, не суйся за прилавок, не задерживай наши руки. Сметем вас всех. Эй, Федя, запевай:

Отречемся от старого мира,

Отрясем его прах с наших ног...

Володя удивленно посмотрел на купца, потом на льдины, мчавшиеся по Оке, на полноводную реку, отрезавшую и табор, и рабочие кварталы города от властимущих, и тихо про себя произнес:

— Не такие уж они и пьяные. Притворяются. Странно... — И еще: — А в России только во льдах и можно петь «Марсельезу»...

Эти слова повторит он потом на Новой Земле, на одной из последних ледовых стоянок, в пургу и лютую стужу, когда гимном пролетариата старался ободрить голодных, больных, умирающих товарищей.

— Отрясем его прах с наших ног, — демонстративно, ухмыляясь, притопнул и жандармский вахмистр.

— Эй, как там дальше-то? — кричал купец. — Зови студентов, Хведор, ниверсантов, которые из Ниверситета... Люблю их. Порядку не знают, а песни могут петь. Где мой племян Володька? Почему его дома нет? Я же его, сукиного сына, из тюрьги вытянул!..

Этот купеческий вопль был уже явной провокацией, рассчитанной на «ахтырцев»¹ с длинными языками, жадных до темных слухов.

Тут-то и присмотрелся Володя Русанов к своему «родственничку». Нет, елецким фабрикантом, городской головой он никак не мог быть, хотя и говорили, что оба деда, орловский и елецкий, были похожи друг на друга. Давно уж они померли. А может, это сын фабриканта, пробившийся в банкиры? А скорее всего, тот самый Дмитрий Дмитриевич — купец орловский, его однофамилец, выдавший полиции непутевую голову брянского работяги и теперь направленный вместе с вахмистром-«кучером» на ловлю новых жертв? Вот уж точно, надо ушки, как го-

¹ Население Ахтырки — части г. Орла, названной по имени Ахтырской церкви (ныне Никитской).

ворится, держать на макушке. Нет уж, я вам не Сеня Кондырев.

Что их здесь интересует? Кого они еще ищут? Ну и представление! А может, просто народ хотят собрать, а потом изобразят как митинг?

Над бурлящей в разливе рекой плыли и захлебывались в грохоте льдин знакомые слова:

Мы-ы не чти-и-им золото-ого куми-и-ра...

Это вы-то, не чтите золотого тельца? Володя даже привстал от возмущения. И снова в памяти — рассказ дяди Сережи, того орловского дяди, которого дед называл цыпленком и колотил за малейшую упущенную копейку, пока брат, Володин отец, за него не заступился. Дед тоже «Марсельезой» баловался и острые словечки бросал, грозил кулаками Дворянскому гнезду, а сам же норовил туда забраться, как и этот купец, чтобы потом зубами привилегии свои отстаивать...

А сейчас, ишь, как купчишка этот продажный отплясывает:

— Отрясем его прах с наших ног...

«Кучер» его тоже вошел в азарт, несет что-то несуразное...

И вдруг — змеиный посвист и грозный голос из-за куста ободранной вербы.

— Господа, кто дозволил? В канун праздника Христова!

Володя своим глазам не верит: сам Бегемот, собственной персоной, полицейским свистком размахивает, а морда надутая, как футбольный мяч, и на ней бугром — синюшный нос.

— Следуйте, господа, за мной! Следуйте-с...

«Ого, своя своих не познаша», — хмыкнул Володя и высунулся из-за обрыва. И сразу загрохотала хриплая ругань:

— Я тебе, псина, последую... Ты што, Бегемотина, меня не узнал? Засвети ему, Федя, факелом. Купца первой гильдии не узнал? Почетного, потомственного, финансовую мощь губернии не узнал? Да я тебя — на хлеб и воду... Паразит!

— Узнал, ваше сиятельство, узнал, — испуганно залопотал городской, и лицо его сделалось дряблым, словно из него выпустили воздух. — Я племянничка вашего охраняю от супостатов... Мне приказано...

— Плохо охраняешь. Проворонил моего племянша. Уволю. Пиши сам на себя донос, и чтобы на дорогой русановской бумаге. Ну-у?!

Чем больше зверел самозванный «дядюшка», тем печальнее звучал голос Бегемота.

— Не погубите, ваше сиятельство. Дети у меня, детишки... А племянничек ваш тутость... Да вот он! — закричал Бегемот так радостно, будто увидел берег в бушующем море. — Мы-то его кличем, а он на камушке пригорюнился... Хороший мой, Володечка, попроси своего дядюшку не губить меня...

— Володька! Здорово! Да что ж ты молчишь? Володька! — обрадовался купчина. — Я тебя полдня шукаю. Давай сюда, на ковер. Хведор, зови цыганок!.. А ты, Бегемот, отсвистелся.

— Не погубите, ваше сиятельство... — бубнил городской, ползая на коленях.

— Перестань, — махнул на него рукой «отходчивый» купец и смиростивился: — Ну, ладнеть. Иди собирай хворост. Зажигай костер. Вишь, последний факел догорает...

— А ты, «Федя — съел медведя», тоже не спи. Цыганок певучих отобрал?.. Так... И возьми-ка у Бегемота дудку, чтобы ему не мешала. Дай сюда... Охраннички тоже...

Размахнувшись, «дядюшка» забросил подальше в реку Бегемотов свисток и с чувством исполненного долга, обрадованный встречей, потянулся к Володе с объятиями. Но тот быстро отстранился.

— Ей-ей, не узнал бы тебя, — продолжал купец, как ни в чем не бывало, — что ж ты сразу не подошел, голубок мой? Да ты, вижу, студент! В Брянск вместе поедem. К друзьям твоим, ниверсантам. Познакомишь меня... Говорят, есть три хороших молодца... Фамилии у них на букву «К» начнутся. Не знаешь, где они нынче? В Бежице?

Володя все понял: «Это Дудкин из кожи лезет. С друзьями «дядюшка» просит познакомиться. С кем? Выявить явки хотят. Вот она, новая провокация...»

— Господин Русанов совсем замерз. Выпейте, молодой барин, коньячку, не побрезгуйте с простым кучером, — протянул ему бокал Полевков. — Я вам еще и шампанского туда плесну... для вкуса.

— Не пью я совсем,— решительно отвел его руку Володя.— Врачи не рекомендуют.

— Пошел вон! — закричал «дядюшка». — Со мной будет пить племянник! А ты не суй свое рыло...

— Да я хотел, как лучше, ближе к делу,— оправдывался вахмистр.

— Иди-ка ты лучше ближе... вон к тем,— хохотнул купец, показывая на столпившихся у костра цыганок.— Помоги им разогреться. А мы тут сами с племяншем по душам потолкуем. Не верь, Володя, дохтурам. Ты нашей, русановской, породы...

Володе очень хотелось сказать откровенно: кто есть кто; разоблачить самозваного «дядюшку», а заодно с ним и кучера-вахмистра. Но он промолчал. Плохо может кончиться вся эта трагикомедия. Он — один, а их трое: купец, подговоренный Дудкиным (это уж точно им!), вахмистр-филер Полевков да еще городской с жандармского поста. Затеют драку, скандал. Могут что угодно состряпать, под любую уголовную статью подвести, раз политическая не тянет для громкого процесса. Еще и свидетелей найдут из ахтырских подонков, готовых за бутылку кого угодно продать... Да, плохо быть одному! Как же выбраться из этого положения? Володя растерянно осмотрелся. Взгляд его остановился на освещенном факелом темном озабоченном лице Маштака. Тот, оставив у костра цыганок, бренчащих ожерельями, с гитарой через плечо направился к нему. В этот момент вахмистр отвлек внимание купца каким-то тайным разговором, наклонился над самым его ухом и еще телеграмму к носу поднес.

Русанов воспользовался этим, быстро подошел к Маштаку. Они стали за кустами лозняка, в котловане.

— Молодой человек,— тихо сказал Маштак.— Ты мне еще тогда понравился очень, и сейчас я хочу тебя выручить. Тот кучер — не кучер, а полицей, как тот полицей-городской, но только выше. Я коня подведу, ты садись на него и скачи... Я скажу им, твоя матушка захворала, помощь нужна...

Маштак поднял над головой гитару, резко тро-

нул одну струну и тут же, как из-под земли, появился уже оседланный низкорослый конек.

— Ты мой народ понял, я твой народ понял, — сказал Маштак, помогая Русанову. — Держись крепко. Он маленький, да удаленький. Ты нужен людям... Ну, с богом!

НЕ ЗАПУГАЕТЕ!

Блуждая по окраинам города, по раскисшим, в россыпях потемневшей золы огородам, с трудом вытаскивая сапоги из размокшей глины, Русанов вышел наконец к своему дому со стороны сада. Молодые антоновки протягивали к нему умытые дождем ветви. Они только прошлой осенью, когда он сидел в Таганке, начали плодоносить.

На большой полуизогнутой к сараю березе уже набухали почки. Оттуда, сверху, зазвенел детский голосок:

— Здравствуйте, дядя Володя! Я вам новый скворечник принес. Сейчас прибью.

— Здравствуй, Саша! — обрадовался Русанов. — А гвозди есть?

— Есть. Мне тетя Люба дала. Батя запоматовал, на дежурство спешил. Новый состав из Брянска пригнали...

С семьей осмотрщика вагонов Николая Померанцева его познакомила Маша Булатова еще в позапрошлом году. У вагонника-агитатора, с которым подружился Русанов, было пятеро детей, да шестого Сашу взял он к себе, когда его отца, Василия Померанцева, забили полицейские на маевке в Бежице, а мать-стрелочницу вскоре раздавил маневровый паровоз.

Сашина мать перед смертью говаривала:

— Живем, как соломка на колесе: вертится, вертится, пока смазка держится, а нет ее и — прямо на рельсы.

Новая его мама редко унывала:

— Эх, Владимир свет Александрович, — сказала она однажды Русанову. — Нет на земле нашей кустика, чтоб не садилась пташка, нет того домика, чтобы не было горя.

— Голому разбой не страшен,— весело поддакивал Сашин отчим.

Русанов, как мог, помогал рабочей семье, так много делавшей для революции. То кузовок малинки притащит померанцевским ребяткам, то добрая душа Любовь Дмитриевна одежду выкроит из своих нехитрых запасов. И Маша — дорогая невестушка не забывала своих крестников. Вместе с листовками для папаши яичек пасхальных подложит на все горластое семейство.

Саша слез с березки, старательно отряхнул заштопанные спереди и сзади штанишки и, прильнув к наклонившемуся дяде Володе, таинственно прошептал:

— Батя просил для брянских проводников по парочке скворушек.

На языке подпольщиков это означало, что потребовалось не меньше двух сотен листовок.

— И чтобы к Первому мая,— уточнил паренек.— Не позднее. А еще лучше, если сегодня отнесу я их в старом скворечнике. Сейчас его почищу...

— Успеешь, Саша! Заходи в дом,— тут же крикнул Русанов.— Напой-ка, маменька, Сашу чайком, да с вареньицем и с крендельками, если найдутся.

— Найдутся, милый,— отвечала Любовь Дмитриевна.— И ты заодно перекуси... Да на тебе лица нет! Или опять ночь не спал?

— Выплюсь, успею.

— Да когда успеешь? Тебе сегодня на свидание идти. Не забыл? Предупреждали вчера. Я и тулупчик твой подшила. Примерь. Пригодится, там зимы длинные...

При слове «свидание» возникло перед Володей улыбающееся скуластенское личико Маши Булатовой и тотчас померкло. Появилась на миг веселая добродушная физиономия Родзевича-Белевича и тоже улетучилась. Заслонила их огромная багровая рожа полковника Щепотьева, и закрипел раздраженный голос Дудкина.

Но это уже случилось часа через полтора после того, как Русанов едва отчистил от грязи сапоги, переменял рубашку и по совету матушки напялил свежий костюм отчима, всегда аккуратного Андрея Петровича.

В губернском жандармском управлении Русанова проводили прямо в кабинет к Щепотьеву. Он был уже в новых золотых генеральских погонах и клацал челюстями со вставным металлическим частоколом зубов.

Прежде чем объявить о высочайшем повелении, он одним махом перекрестил все письменные прошения бывшего вольнослушателя Киевского университета Владимира Русанова:

— В выезде в Париж для изучения естественных наук — отказать. В поездке в Тифлис на заработки — отказать...

И тем паче отказали ему в поездке братом милосердия в Китай, где вспыхнуло народное восстание.

В завершение визита его заставили подписаться под распоряжением департамента полиции о «высылке в Вологодскую губернию под надзор полиции на два года»...

На сборы в дорогу отпускалось десять дней. И он строго предупреждался, что ежели в течение сего времени он будет замечен в предосудительных противоправительственных поступках, то действие высочайшего повеления приостановится и снова начнется дознание со всеми вытекающими последствиями. Значит, опять тюрьма.

Возвратив часовому пропуск, выйдя за ворота казенного учреждения, Володя Русанов облегченно вздохнул. Спать ему уже не хотелось, он пересилил себя:

— Не запугаете!

На крыльце родного дома он с новой силой повторил:

— Не запугаете!

В ту же минуту услышал ласковый голос Маши:

— Кто это там страшные заклятия произносит?

— Клянусь я небом и землею, своей невестой дорогою, — запел Володя и, заключив в объятия девушку, закружился с нею по комнате, уже не стесняясь ни маменьки, ни маленького Саши, все еще колдовавшего над старым скворечником.

Маша едва передохнула:

— Ты такой радостный, Володька... Или тебе подарили шкуру белого медведя?

— Удостоили. И нам нельзя терять время. За работу, друзья!

— Сначала пообедаем. У нас сегодня лапша с курицей,— захлопотала Любовь Дмитриевна.

— Некогда. Подождем Андрея Петровича,— но, взглянув на худенькое личико и печальные глаза мальчугана, сказал:— Покорми, мама, Сашеньку, а мы с Машей займемся печкой. Мастику надо подогреть... А мне еще и текст подправить для гектографа.

— Все заново,— покачала головой Любовь Дмитриевна и молча поставила перед мальчиком полную миску лапши.

— Ой, как много, тетя Люба! Я все не съем, только половиночку. Остальное, если можно, отнесу домой?..

— Ешь все, милый. А для твоих братцев и сестричек я большую кастрюльку налила.

— Спасибо, тетя Люба.

— Нажимай, малыш. Всем хватит,— ободряюще улыбнулся Русанов и взглянул на Машу:— Послушай. Начало я изменил. Вот... «Обращение. Рабочим Брянского рельсопрокатного завода. Товарищи! Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать всемирный рабочий праздник Первое мая. А собирались сюда украдкой и с оглядкой, словно какие-то воры или разбойники...»

— Я пойду посторожу на улице,— спохватилась Любовь Дмитриевна и строго посмотрела на сына:— А ты не гуди, как на митинге... И лестницу к мезонину не придвинули. А ежели нагрянут?..

— Я поставил, тетя Люба.

— Мальчик, а больше вас понимает. Так-то вот,— ворчала Любовь Дмитриевна и, проходя под окнами, невольно прислушивалась, как Маша диктовала то, что напишет ее сын анилиновыми чернилами, а потом отпечатает, и полетят они, эти листочки свободы, к рабочим, пробуждая в них надежду на лучшую жизнь.

Снова загудел голос сына. Любовь Дмитриевна поспешно повернула к дому и остановилась напротив полуоткрытого окошка, выходящего в сад. Чувствовался запах краски, расплавленного воска, и почти все, что говорил Володя, было хорошо слышно.

— Шествия, собрания... Требовать законный вось-

мичасовой рабочий день... Союзы для взаимной помощи бастующим...

Голос становился все сильнее:

— Рабочих душат штрафами! А хозяева живут в роскоши, пьют шампанское, а вас травят водкой, настоящей на махорке. Дети ваши умирают от голода и болезней, которые никто не лечит.

— Все правильно, — шептала Любовь Дмитриевна. — Но нельзя так громогласно, точно дьякон с амвона...

Схватив грабли, она постучала в стену:

— Эй, вы! Скворечник украли!..

Тут же прибежал Саша:

— Какой скворечник, тетя Люба? На дереве он...

— Скажи им, Саша, чтобы окошко закрыли лучше. И чтобы не так кричали. А сам пройдишь по улице, на тот угол переулка, а я на этот. Подозрительных увидишь, беги сразу сюда.

— Пролетарии, соединяйтесь в одну семью! — все еще доносилось из дома. — Долой самодержавие! Да здравствует революция!..

Но это уже диктовала Маша, а потом и ее голоса не стало слышно. Захлопнули окошко, а Саша выбежал на улицу помогать тете Любе.

Когда Володя отпечатал первую партию листовок и запрятал их в старый скворечник, который, как условились, должен был Саша отнести к отцу «подремонтировать», подпольщики устроили перерыв.

Маша, успевшая переговорить с отчимом Саши и с проводниками брянского поезда, сообщила последние сведения о серьезных событиях на рельсопрокатном и вагоностроительном заводах. Отдельные стихийные волнения перерастают в организованное политическое сопротивление рабочих много-тысячных коллективов. Полсотни городских уже не могут ничего сделать. Полицейские разбегаются. Орловский и калужский губернаторы направили в Брянский уезд войска, но половодье, как и предполагал Дубровинский, не дает им возможности приступить к активным действиям.

— А как в Орле? — спросил Володя.

— Как в тухлом болоте... Купцы жируют, жан-

дармы рыскают,— ответила Маша.— А в Брянске все по-другому. Рабочие-агитаторы требуют правдивых газет, листовок...

И снова застучал гектограф. Под шум его Володя поведал и о своих новостях, о том, что конечным пунктом его вологодской ссылки назначен уездный городок Усть-Сысольск.

— Глухомань страшная... Леса вокруг...

— Я поеду с тобой! — решительно сказала Маша.— Я все обдумала.

— А как же родители?

— Я скажу им. А там, как хотят...

— Спасибо, Маша. Спасибо, милая!

Он произнес эти слова с таким волнением, что Маша смутилась и, глядя на появившегося в дверях мальчугана, быстро перевела разговор на другую, как ей казалось, тему.

— Я вчера на Троицком была, к бабушке на могилку ходила... прощаться. И знаешь, Володя, нашла, где похоронен твой любимый поэт Иван Иванович Гольц-Миллер. Он с Балтики, кажется?

— Он из революционеров, Маша. Из России Некрасова и Заичневского¹, из вечно «Молодой России»¹. А вот что он похоронен в Орле, я не знал. Но песни его долго еще будут жить...

Володя взял гитару. И столько было в его голосе грусти и печали; он прощался с милым родным гнездом, с орловскими садами и кромскими полями, куда бегал еще подростком, прощался со своей мятежной юностью. Будто снова захлопнулись за ним тюремные ворота:

...Кругом часовые шагают лениво.

В ночной тишине, то и знай,

Как стон, раздается протяжно, тоскливо:

— Слу-шай!

И вдруг зазвенела оборвавшаяся струна. Стало слышно, как за окном, в саду, ветер шебуршит обсохшими ветками. Володя виновато улыбнулся:

— Прости меня, Маша. Нагнал я тоску... Уж очень много испытаний впереди..

¹ Так называлась знаменитая прокламация, в составлении которой принимал участие русский поэт-революционер некрасовской школы И. И. Гольц-Миллер (1842—1871). П. Заичневский — орловец, был основным ее автором.

— Все будет хорошо, Володя, — шептала Маша. — Все будет хорошо!.. А вечером мы встретимся у Родзевичей. Пусть все знают. Правда?.. А сейчас я провожу Сашу. Так надежней... И маму надо подготовить. Все будет хорошо...

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Через проходные дворы уже поздно вечером Русанову удалось проникнуть к Родзевичам. Он захватил из дому гитару и, постучав в окно, присел на лавочке у парадной двери. Тихонько пропел:

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой...

И повторил, как условились, тот же припев.

Долго не открывали. «Наверно, осматривают из окон улицу: не привел ли «хвоста»... Наконец послышался голос Марии:

— Володя! Почему не через черный ход? Там, в кухне, тебя ожидает... сюрприз.

— Сюрпризами я сыт по горло, — проворчал Русанов. В коридоре приветливо, как родного сына, встретила Елизавета Яковлевна и повела в гостиную.

— Два Володи снова вместе. Слава богу, все обошлось, — намекнула на тюремную историю, из которой удачно, как она считала, выпутались друзья. — Володечке нашему на Кавказе разрешили подлечиться. Плохо у него со здоровьем, — и тяжело вздохнула. — Видать, решили супостаты: все одно, мол, помрет...

— Ну что вы, Елизавета Яковлевна! Нельзя так... — как можно спокойнее убеждал Русанов и все смотрел на Марию. пышные волнистые косы она уложила венком, перевязав лентой, и теперь казалась намного выше матери и стеснялась своего слишком короткого платья, из которого выросла. Пригибаясь к матушке, улыбалась сквозь наплывающие слезы:

— Так ведь это они так решили, мама...

— Я знаю, что говорю. Вы меня не утешайте, — сказала Елизавета Яковлевна уже прежним твердым голосом, хорошо знакомым всем ее троим сыновьям и четверем дочерям, рано оставшимся без отца. — А мамочка твоя, Владимир, страшно разволнова-

лась. Прибегела после обыска и все спрашивала: «Как у вас? Побывали?...» А что у нас? Поручик Дудкин подержал в руках банку с этой вашей... массой для печатания.

— Варенье прошлогоднее, — поясняю ему. — Я вам лучше свежее летом наварю...

Оставил банку в покое.

В прошлый обыск хуже получилось. Князь Серебряный нас подвел. Не сумел притаить за своей позолоченной рамкой прокламации... Вот Володю-то и взяли.

Эту историю с дешевенькой олеографией, висевшей в кухне, Русанов знал. Именно за этой картиной и обнаружили жандармы брошюры и полпачки листовок, предназначенных для рабочих Брянска.

В гостиной было все по-прежнему. Сияла в медной люстре десятилинейная лампа, под которой они впервые прочитали «Манифест Коммунистической партии». Осмотревшись, Русанов сразу увидел Клавдия Острова — одного из лучших пропагандистов, исключенного из Московского университета за связь с «Рабочим Союзом». Он сидел под портретом Карла Лаврентьевича Родзевича-Белевича — шляхтича, сосланного в Орел из Вильно.

В стареньком кресле, под картой Российской империи расположился худющий, изрядно побледневший в тюрьме его друг — «неисправимый интеллигент», как называли его жандармы.

— Привет узнику капитала! — воскликнул он, обнимая Русанова.

— Точнее узнику полуфеодальной империи, — так же шутливо отвечал Володя своему тезке. — Между прочим, полиция распространяет слухи, будто я был выкуплен из темницы... нарождающимся в России капитализмом в образе малоизвестного мне и якобы даже родственника из купцов. Понадобилась им провокация... Зачем?

— А про Дубровинского жандармы спрашивали?

— Очень даже настойчиво.

— В этом все и дело. Погорячился Иннокентий! — вмешался в разговор Клавдий. — Решил всю вину на себя принять.

Видя недоумение на лице своего друга, Родзевич

протянул ему лист бумаги, исписанный знакомым почерком Маши Булатовой.

— Это копия письма Дубровинского в Московское жандармское управление. Твоя невеста переписала. Она сейчас в кухне, листовки пересчитывает.

«Так вот о каком «сюрпризе» говорила Мария», — Володя покраснел от радости. Скрывая волнение, погрузился в чтение письма:

«Имея в виду решительно гарантировать себя и других от всяких новых осложнений дела об издании «Манифеста Коммунистической партии», я отправляю в губернское жандармское управление часть этого издания...»

— Листовки-то были плохо отпечатаны, испорчены, — вспомнил Русанов и продолжал читать, вдумываясь в каждое слово.

«В Калуге, — писал Дубровинский, — я разделил издание на две части, без счета, теперь же не имею возможности лично пересмотреть корзину. Во всяком случае передано мною было (в эту часть) около 200 экземпляров.

Считаю уместным добавить, что, не имея возможности лично выехать из города Орла, я вынужден был поручить розыск этой корзины, доставку ее в Орел и отправку в жандармское управление некоторым моим личным знакомым. Лица эти согласились оказать мне помощь, и я решил просить об этом исключительно ввиду того, что доставка в руки жандармского управления нелегальной литературы ни в коем случае не есть преступление и не может вызвать преследования.

На тот случай, если губернское жандармское управление найдет нужным снова взять меня под стражу, я добавляю следующую просьбу. Не имея в настоящее время самостоятельной квартиры, я прошу, ввиду того, что обыск и арест, без сомнения, крайне тяжело отзовутся на здоровье моей матери (в настоящее время она серьезно больна), прошу произвести это по возможности без шума.

Добавляю: мною сделана попытка получить и вторую часть издания, которую я намеревался выдать жандармскому управлению, но мне сообщили, что

после моего ареста те экземпляры уничтожены.
Иосиф Дубровинский»!

— Значит, вот кто меня выручил! — воскликнул Русанов.

— Мы отговаривали его писать. Ведь это грозит ему новым арестом, — прошелся по комнате Клавдий, привычно, по-тюремному, заложив руки за спину.

— И новым приговором, — зашелся в кашле Родзевич. — А он одно твердит нам: «Руководитель обязан защищать каждого члена организации».

«Также и Владимир Ильич говорил, — вспомнил Русанов свою последнюю поездку в Москву и встречу с Ульяновым, которую так тщательно подготовила Анна Ильинична вместе с сестрой Клавдия Глафирой Михайловной. — А знает ли об этой знаменательной встрече Клавдий? Если и знает, не скажет. Парень — кремень. То-то в полиции и величают его весьма вредной личностью».

Словно прочитав мысли Володи, Остров спросил о поездке в Москву, Русанов отвечал уклончиво и тут же вообще замолчал, когда в дверях показалась раскрасневшаяся, смущенная Маша Булатова.

Володя ласково посмотрел на девушку и шепнул ей:

— Как родители? Ничего?.. И ты все равно скажешь всем? Сегодня?

— И тут секреты, — улыбнулся Родзевич.

— Переходите-ка вы все на кухню. Нечего тут болтать и зря керосин жечь, — строго сказала Мария, ревниво поглядывая на шепчущихся жениха и невесту. — Надо помочь самовар поставить.

В гостиной остались одни мужчины, руководство марксистской социал-демократической организации.

Кухня в пятикомнатном доме Родзевичей имела два выхода, и один из них — в заросший сад, где удобно было в случае полицейской облавы скрыться участникам нелегального собрания.

Но прежде чем перейти на кухню, Клавдий продолжил важный разговор:

— Наши товарищи в Москве перехватили донесение охранки. Я запомнил точный текст. Передаю тебе

¹ Креер А. Товарищ Иннокентий. — Орел, 1960, с. 75—76.

по просьбе Дубровинского. Он может сегодня и не прийти...

— Иннокентий обещал? — встревожился Русанов. — Если обещал, придет обязательно.

— Да, это опасно, но он зайдет и притом не один, — Клавдий посмотрел на часы. — Так вот слушай: «Состоящий под особым надзором полиции в Орле В. А. Русанов прибыл в Москву. Почти одновременно с Русановым в здешнюю столицу приехал известный под псевдонимом «Ильин» представитель марксизма Вл. Ульянов, только что отбывший срок в Сибири»¹.

— Ну, Володя, высоко ты котируешься, — воскликнул Родзевич. — Рядом с Ульяновым твоя фамилия, забудь теперь про свои рискованные поездки в Москву и Киев. Тебя надо беречь... Ясно?

— И как революционера, и как будущего ученого, — со всей серьезностью подчеркнул Клавдий.

«Так же говорила Анна Ильинична Ульянова. Неужели по совету Владимира Ильича? Может, Глафира и передала все брату Клавдию? Ишь ты! Беречь... От судьбы не уйдешь...»

— Не меня, а тебя, Родзевич, надо беречь и... подкармливать. Нажимай в Тифлисе на кавказские шашлыки, — отшутился Русанов. — Нас зовут... Пошли на кухню.

— Все спорите, заговорщики. Кипите, как самовар. Садитесь за стол, — засуетилась Елизавета Яковлевна. — Спокойно чайку попьем.

— А мы и не спорим, мама. Просто обсуждаем.

— Знаю я, чем ваши обсуждения кончатся. Весь ты, Володя, в отца, такой же горячий. И статьями своими только дразнишь народ. Вчера у колонки, пока стояла с ведрами, наслушалась. Купчиха Забужанова, злая-презлая, кричит на всю улицу: «Я из-за этих фельетонов Ореста Семина «Орловский вестник» больше не покупаю». Знала бы она, что ты и есть Семин!

— А что ей в моих фельетонах не понравилось? — заинтересовался Родзевич.

— Приказчиков, служанок и рабочих, говорит,

¹ Фотокопия подлинника донесения московской охранки находится в экспозиции музея В. А. Русанова в Орле.

сбивает в какое-то общество взаимного вспоможения, и они деньги за труд большие требуют. Последний батрак от нее ушел. Она теперь сама за водой ходит...

— Ей давно пора похудеть, — заметила Мария. — На пользу пойдет.

Елизавета Яковлевна сурово посмотрела на дочь:

— Помолчи, Марьюшка, погляди лучше, как там наши малыши? Спят?

— Давно спят, маменька. В трех комнатах расположились, как бояре... Тише!.. Стучат в парадное. Слышите?

— Стучат. Но кто? Братишка? Нет, Саша в отъезде. — Родзевич резко привстал, едва не зацепив скатерть. — Иннокентий прошел бы через сад. Пойду посмотрю.

Несколько минут все сидели молча, звенели только чашки и блюда.

Родзевич возвратился быстро и в некотором замешательстве:

— Странно. На улице и во дворе — никого. Может, мальчишки?

— Я заметила днем подростков, — вспомнила Елизавета Яковлевна, — спрашивали у соседей, где церковный сторож живет. Один из них, постарше, на колокольню полез. Где я его раньше видела? В театре? Помните, осенью на концерт ходили? Я еще не хотела. Или в оркестре, в горсаду?

— Лишь бы не в полиции, — проворчал Клавдий.

Взглянув на него, Русанов поведал о своих ночных приключениях. Его живой рассказ о негаданной встрече с пьяным купцом, жандармским филером в роли кучера, с напуганным городовым и ватагой цыган вызвал поначалу смех.

— Ай да Володимир, сын божий! Неужто тебе даже рюмочки не перепало? — ехидно улыбаясь, спросил Родзевич.

Русанов не принял шутку. Помешивая в стакане, куда «забыл» положить сахар, так как хорошо знал о страшной бедности в этой большой осиротевшей семье, существовавшей в основном на репортерский заработок его друга, он ответил со всей серьезностью.

— Я, дружище, особенно остро понял вчера, что мы сильны прежде всего своей трезвостью. Пусть спиваются те, кто не знает, куда девать награбленные деньги, те, у кого совесть не чиста, кто продает народ оптом и в розницу.

— Да здравствует русский чай! Налей, Марьюшка, мне еще стаканчик,— попросил Клавдий.— Мой дед Иван Костров тоже бунтовал и тоже любил чай. Полсамовара один выдувал, а в бутылку никогда не заглядывал.

— А почему Костров, а не Остров? — насторожился Русанов.

— Батя мой, священник, тебе известный, сказывал однажды, что снял букву «К» с фамилии деда из-за благозвучия. А может, из других соображений? Деда-то полиция не раз примечала...

«Вот оно третье «К»,— задумался Русанов,— Клавдий Костров (а не Остров, как сейчас), Борис Кварцев, Олимпий Квиткин. Все трое — студенты Московского университета, члены «Рабочего Союза»... За ними слежка».

— Что молчишь?

— Я потом тебе все расскажу. Мне только на карту взглянуть и подумать надо.

— Думай, ученый, думай,— улыбнулся Родзевич.— А вот о цыганках ты подумал, когда с ними у костра танцевал?

— Тоже подумал. И даже говорил с вожаком табора. Плохо им. Вечно в голоде и холоде. Дети не учатся, болеют, выживают только сильные... Среди цыган немало талантливых мастеровых: кузнецы, лудильщики, шорники, сапожники. Советовал я им объединиться в артель, звал к оседлой жизни.

— На солнечных берегах Орлика¹, в Дворянском гнезде,— прищурился Клавдий, но его хитрый намек не поддержали. Все внимательно слушали Русанова, его рассказ, основанный на точных наблюдениях. Горячо говорил он о чувстве коллективизма у цыган, о необходимости улучшить их жизнь, поднять культуру, создать им письменность, ввести обязательное обучение на родном языке...

¹ Орлик — приток Оки. Во времена Русанова на высоком берегу Орлика, в этом районе проживала наиболее привилегированная часть населения города.

К этим размышлениям Русанов вернется потом, уже в годы Вологодской ссылки, когда обойдет пешком Печорский край, познакомится с жизнью и бытом другой, также забитой царским режимом народности — зырян.

И как бы предчувствуя это, он заговорил о Севере — о традиционных местах ссылки революционеров, о том, что именно ссыльные принесут туда культуру.

Голос Русанова звучал все сильнее и решительнее:

— И там, как и в центре России, организуется рабочий класс. Именно он, как наиболее сознательная, трезвая и дисциплинированная часть общества, подхватив самый широкий альтруистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», с неудержимой силой поведет мир к новым высшим свободным формам жизни...

— Это просто здорово! — прошептала Мария. А Маша Булатова молча влюбленными глазами следила за каждым движением лица Русанова. А он все сильнее вдохновлялся. Размахивая указкой, Русанов задел карту России, и она вместе с прикрепленными к ней палками, шумно свалилась на пол.

— Все. Царская империя рухнула! — усмехнулся Родзевич. И в ту же минуту в окно гостиной постучали, сначала тихо, а потом более настойчиво.

Мария, накинув на плечи платок, ринулась к выходу. Родзевич поспешил за сестрой, но вскоре вернулся.

— Чудеса! Опять никого нет. Какой-то ангел нас охраняет.

— А не архангел ли? Из той черной сотни? А где Маруся? — спросил Русанов.

— Обежала вокруг церкви и двинулась к твоему дому. Может, там кто ждет?

В дом вошла тишина. Оба Володи, всем своим видом подчеркивая полное спокойствие, вешали на место географическую карту.

— Речи твои действительно зажигательные, Русанов, — прервал тишину Клавдий Остров. — Я вчера встретил рабочих завода Хрущева, они до сих пор помнят твоё выступление в Троицкой гостинице на счет кассы взаимопомощи. Во, молодец, говорят, по-

нимает нашу рабочую жизнь. А призыв к восьми-часовому трудовому дню подхвачен и на Бежицком заводе. Всех задела за живое твоя речь.

— В том числе и жандармов,— нахмурился Володя и тут же рассказал Острову про новые козни, поиски трех «К».— Один из этих «К» наверняка ты, Клавдий. Надо быть осторожнее. Ты еще в Топках¹ числишься? Когда поедешь в Брянск?

— Завтра. Сегодня закончу конспект по работе Ульянова «Развитие капитализма в России» — и в дорогу.

— Листовки возьмешь?

— Вклеил их уже в Евангелие. Не найдут.

— Хорошо!.. Что-то Маруся долго не идет?

— Может, мне пойти к твоему дому, Володя?— спросила Булатова.— Я на барыньку больше похожа, не придерутся.

— Подождем еще, Маша.— Русанов поправил указкой карту.— Давайте лучше помечтаем. Смотрите сюда...

И снова замелькали названия, которые Володя произносил с особенно приподнятым чувством: «Арктика, Баренцево море», «Шпицберген», «Новая Земля», «Берингов пролив».

— А как же ты думаешь назвать свой корабль, Володя? — спросила Маша.

— Еще не думал. Но чтобы победить стихию океана, нужен корабль-богатырь.

О названии своего корабля Владимир Русанов, возможно, не думал даже в ту памятную весну, когда еще мальчишкой бесстрашно плавал на льдине по широкой в разливе Оке, мечтая о дальних странствиях, о бурных северных реках. Но о морских путях в Сибирь он, конечно, размышлял в долгие тюремные ночи, вчитываясь при жалкой свечке в бессмертные страницы Нансена. И пройдет не так уж много лет, когда о нем, революционере-ленинце, вырвавшемся из царских тюрем и ссылок, о русском геологе, закончившем Сорбонну, заговорит весь мир как о знаменитом ученом — полярном исследователе. И именем его назовут улицы и

¹ Орловское село, куда был сослан К. Остров.

музеи в Орле, в Архангельске и других местах великой и свободной России.

— Да, корабль нужен богатырский, — повторил Русанов.

— Браво его капитану! — похлопал в ладоши Родзевич, поудобнее устроился в кресле под портретом своего отца и поежился:

— Не-е... Холодно. Я лучше на Кавказ поеду...

— А мы поднимемся до мыса Желания, — деловито продолжал Русанов, — затем через воды Карского моря к острову Уединения и дальше — на восток, встретим море Лаптевых, посетим Новосибирские острова, пересечем Восточно-Сибирское море и прямо — к острову Врангеля. А там и Чукотское море и Берингов пролив. Мы откроем Северный морской путь в Сибирь, пройдем Сибирским морем из Атлантического в Тихий океан. Это будет великий путь. Он принесет славу России.

— И сделает нашу страну самой могущественной державой в мире! — воскликнул Родзевич.

— Но прежде она должна стать свободной, несущей свет и свободу другим народам, — заметил Остров.

— Эх вы, донкихоты, и про барышень забыли, — покачала трясущейся головой Елизавета Яковлевна. — А Маруся сбежала? Или опять сторожит? Такие вы все способные, вам бы в науку идти, а вас все по ссылкам да по тюрьмам определяют, — на глазах рано постаревшей, придавленной нищетою женщины показались слезы. — Вокруг дома так и снуют сыщики, и все новые...

— Мама! Не тоскуй, все будет хорошо! — Володя Родзевич обнял мать, горячо целуя ее набухшие от слез глаза. — Мы не пожалеем себя для счастья, для свободы народа.

— А народ-то вас пожалеет?

— Народ добро не забывает! — раздались вдруг твердые мужские слова. В дверях стоял Дубровинский. Глаза усталые-усталые...

— Откуда ты, Иннокентий? — бросился к нему с объятиями Володя Русанов. — Уж не с неба ли сошел?

— Разве я похож на ангела? — Дубровинский тя-

жело присел на стул.— Впрочем тебе, богослову, лучше известно. Как там в орловском чистилище с решеточками? Терпимо? Ничего, привыкай, дружище. А я сюда не с неба сошел, а с черного хода Мария меня привела, да не одного, а с помощниками. Вы уж извините. Я еще не поздоровался.— Дубровинский повернулся к Елизавете Яковлевне и галантно поцеловал у нее руки.— А это мои друзья: Иван, Петр, Николай, — и представил молодых рабочих в потертых железнодорожных шинелях.— Да два еще апостола — на подходе, в коридоре топчутся. А вот шестой, самый младший член нашей дружины — Виктор, музыкант отменный. Специалист по колоколам. Но у него сегодня особые задачи: охранять нас. Давай, Виктор, приступай к своим обязанностям. И ребятам скажи, чтобы с колокольни не слезали, зорко смотрели. В случае чего — сигнал на весь город. Сам знаешь, как договорились.

Тут только Елизавета Яковлевна узнала Виктора. Она видела его в театре, в оркестре.

— Он и постукивал к нам в окно, чтобы не слишком громко разговаривали,— пояснила Мария, провожая Виктора.— Он и помог мне найти Иосифа Федоровича.

— Пояснений вполне достаточно,— прервал девушку Дубровинский.— Раздеваться не будем. Времени — в обрез. Мне еще в Москву надо успеть.

— Даже не отдохнете? — всплеснула руками Елизавета Яковлевна.— Сейчас я принесу вам поесть... И в дорогу соберу. Отдохнуть бы вам...

— О нашем отдыхе, видать, уже заботятся,— сказал Дубровинский.

И оказался прав. В Москве он был вскоре арестован. Долго шли допросы, а потом его сослали в гнилой город Яранск Вятской губернии на четыре года. Тяжело больного туберкулезом Иосифа Федоровича перевели этапом в Астрахань. Но это уже случилось потом, а сейчас он действовал энергично, говорил кратко, весомо. Быстро наметил план действий в помощь забастовавшим рабочим Брянска. Рассказал, что делать каждому представителю рабочих дружин, организованных на Орловском железнодорожном узле. Успел даже подготовить большую программу проведения рабочей маевки в пригород-

ном лесу. Побеседовал с Родзевичем-Белевичем о предстоящей ему поездке в Тифлис и особенно сердечно о жизненно важных планах и замыслах Владимира Русанова, на которого возлагал большие надежды.

— Володя! — сказал Дубровинский. — Береги себя там... на Севере... Видишь, все знаю о твоём пути...

— Вам не все известно, Иосиф Федорович, — улыбнулась Маша Булатова. Она встала рядом с Русановым, взяла его за руку. — Я буду с ним. Буду беречь его... Он — супруг мой.

— Хорошо, — сказал Дубровинский. — Так всегда поступали русские женщины. Береги его, Маша.

— А как же родители, Машенька? Без благословения, без свадьбы-то разве отпустят? — всплеснула руками Елизавета Яковлевна. Она взглянула на сильно побледневшую дочь, хотела еще что-то сказать, но молодые нетерпеливые голоса не дали ей договорить. Все кричали одновременно:

— Поздравляем, поздравляем!

— Горько, горько!..

— Счастье твое, Булатова, — шептала со слезами на глазах Мария.

И в эту минуту позвонили на колокольне Никитской церкви. Сначала вразброд, а потом в беспросветной тьме поплыли торжественные звуки гимна, что несколько успокоило всполошившихся охранников престола.

— Виктор сигналы подает. Силы не жалеет, — заметил Иосиф Федорович. — Будем расходиться поодиночке. Спокойно. Не задерживаться и не спешить. Пусть полицейские свой царский гимн послушают, мешать не станем...

Он расцеловался с молодой парой, бережно взял у хозяйки дома сверток с бутербродами и вышел первым.

Над сонным городом плыл тревожный гул. Дубровинский прислушался. Из мрака, откуда-то из-за колокольни слышалось ему волнующее, зовущее:

«Отречемся от ста-а-рого ми-ра!..»